

Людмила МАРАВА

ЗДЕСЬ С НЕБЕСАМИ НАПРЯМУЮ ГОВОРЯТ

Меня спросили, что происходит со мной,
Я не знал, что сказать в ответ...

Слова из песни

Смертельная тоска обреченности.

Это первое, что приходит на ум. Когда в умеренно сдержанном темпе движения городского транспорта удаляешься от центра города. В любом направлении. С холодной трезвостью ума окунаясь в обнищавшее до очередного предела донецкое «счастье» выживания в блокадном городе. В это время года, *начало мая 2019 года*, оно уже насквозь проелось здесь весенней обманчивостью новых обещаний. Бурно и неудержимо стихийно зеленеющих ярко-изумрудной листвой на многочисленных деревьях и кустарниках. Понимается, зеленеет-бесится природа восторженным дурманом. Несмотря ни на что, возрождается жизнь и разливается по Донбасской земле густо настоящим сиропом травяного военно-городского «счастья». С ярко-желтыми игриво-ликерными сгустками распустившихся одуванчиков, в самой гуще такой целительной, *здесь* — без кавычек, настойки. Как неумирающей эйфории местного временного, хочется так думать, помешательства.

Оно, удивительное дело, *здесь* не иссякает. Перемалывается-изламывается помешательство в пригородных окопах и блиндажах осатаневшей от кровавой долгосрочности войны. Потом, истонченное и разодранное в лохмотья, подхватывается такое буйно-озверевшее «счастье» весенним же ветром. И несется оно опять над городом. Крепчая и оживая в энергии вечного жизненного обновления. Потому что в нашем теплом дружелюбном городе очень много южного солнца. Оно из года в год неизменно побеждает в споре с зимней слякотной угрюмостью. Доводящей любого, за несколько месяцев зимнего ненастья, до иступления. И когда остаются считанные шаги до массового впадения в бездну мрака, тает в небе тяжелая завеса уныния. Лед небесного равнодушия испаряется. Мощно и повсеместно вытягивая за собой из Земли зловоние неиссякаемой человеческой порочности. Как вечной коростной напасти всего человечества. И свет, очень много света! беспрепятственно льется над городом потоками божественной благодати.

...Весьма полезно, знаете ли, наблюдать, как брезгливо-яростно и остервенело быстро очищается непобежденная смрадом неизлечимой нечестивости природа. Да и к тому же помешательство настоящего вымученного счастья опять обнадеживает. И забывается о том, что бестолковость прожитых лет еще совсем недавно угнетала впянной в пространство *исторической необходимости*, бессмысленностью. И хочется еще забыть, как же тяжело, невыносимо отвратно дышится в обмане навязанных пониманию иллюзий... Кем, как, зачем? Нет никаких ответов.

Их нет. Ничего вообще не остается в пределах затянувшейся отгороженности от окружающего мира. Ничто не имеет значение. Ослабевают мысли, освобождаясь от укора приевшихся обязательств в странно проживаемых обстоятельствах. Хотя не тускнеет накопленное в душе и все никак не могущее иссякнуть бунтарство ко всему этому приспособиться, привыкнуть. Тяжелеет оползнями пережитых мучений обостренная память. И всеми силами гонишь от себя озлобленность. Которая уже стала оскоминой, сводящей судорогами осточертелости недремлющий разум. На дороге, осознанно выбранной. И ведущей в район под названием Донецкая Вечность. Это именно здесь город трагически больно споткнулся о дорожные, разорвавшиеся под обстрелами асфальтовые волдыри. Сейчас — это глубокие исторические выбоины. Кому-то известные. А кому-то и дела никакого нет до этого горестного места. Из подземной тьмы которого каждый день вырываются на волю какие-то зловещие шумы и скулящие о прощении звуки. Как нервные позывные о страшном претерпеваемом бедствии...

...Показная буржуйская спесь «геройствующего» центра не спешит сближаться со своими истекающими человеческой кровью окраинами. Там, в значительной дали от него — обрывки, недожеванные разыгравшейся военной остервенелостью огрызки людских судеб. Распятых своими живыми душами, *исторической необходимостью*, на крестах испытаний. Там — хронический ужас всецельного отторжения заживо отверженных от цивилизованной жизни. Там — война реальная. Там — разрушения и жертвы. Там — обратная и истинная сторона человеческих страданий.

— Как туда доехать? Да только один автобус туда и ходит. По кругу. Где-то один час пути — туда и обратно... — Пожилой мужчина, заметно поизносившийся на вид не только одеждой, наверняка житель одной из донецких окраин, сопровождал недоуменное и для него самого просторечие сказанных слов сочным плевок в сторону. — Несколько дней он вообще не ходил... Что-то там сломалось...

— А как же люди?

— А кто нас за людей здесь считает? Отрыгнули здешних, как кость из горла. Отрыгнули и забыли. Нет людей — нет проблем. Слыхала такое? Не слыхала, так сама увидишь... А народ пешочком пошагивает, когда автобуса нет. По несколько км туда... И потом столько же — обратно. А кто с ветерком катается... На такси. А кто и неделями носа не сует из дома своего... А зимой так выюжило, что те, кто посильнее да повыносливее были, собирались вместе. Чтобы старухам хлеба из города привезти. Да поесть чего-нибудь... А собак, посмотри, сколько бегают. Брошенные они все. Мотаются, как волкодавы голодные... Обрывки ошейников на шеях болтаются... Голод дал им силы сорваться с цепей своих...

— Туда такси еще ходит?!

— Еще как ходит. Вон, смотри, стоят машинки. — Дешевая сигарета уже дымилась в правой руке мужчины кашлетворящим ароматом в радиусе нескольких метров. Если принять за центр окружности фигуру чадающего небо, на паях со всеми прочими, склонного к общению незнакомца.

А по направлению его поднятой руки можно было увидеть недалеко от автобусной остановки несколько допотопных колымаг в виде приземисто-убогих вазовских «лад», из бывшего Советского Союза. С узнаваемыми издавна на их машинных крышах беленькими коробочками, с координатами перевозчика на них:

— А повезло вам сегодня. Вон и автобус тот стоит рядом, что туда по кругу ездит. Карусель!

Действительно, рядом стоял бодрящийся пазик, уже почти заполненный людьми. Но двигатель его еще не работал. И для кого-то, спешащего из центра домой это

было огромным везением. Потому что стартовая точка движения автобуса с этой автобусной остановки повторится здесь вновь через час. Может, минут на пятнадцать меньше.

Повезло. Минут десять прошло, как автобус завелся и двинулся в путь. Медленно попрыгивая, как будто с героическим усилием храброго почтенного старца разминая свои внутренние старые пружины. Местами — точно проржавевшие насквозь. Пассажиры, оказалось, многие знакомые друг с другом, расслабленно окунулись в удовольствие попутных разговоров. Вопросы-ответы — с глубоким житейским смыслом. В основном — о былом. Удалось уловить обрывки фраз из уст говорящих людей, об общих умерших знакомых. О ремонтах разрушенных домов, которые все никак не могли, по ряду очень веских причин (?), начаться. О детях, а в автобусе были в основном пожилые люди. Которые жили в своих полуразрушенных домах быстро увядающей отшельнической жизнью людей, приговоренных судом высочайшей несправедливости к забвению. Без права обжалования. Нет людей — нет и проблем. Но не бросали старики свои плачевные постройки, все еще надеясь на какие-то существенные изменения в происходящем в городе военном бедламе.

Война в этом донецком пригороде хозяйничала и ныне властвует повсю. Если за спиной остались многоквартирные дома с темными оконными прорезами, местами — заколоченные фанерами ДСП — стекла повывлетали во время обстрелов, то теперь пошла черед частных домов со следами ужасающих последствий на них, после тех же обстрелов: насквозь проломленные крыши. Что означает — где-то внутри дома разорвалась бомба. Сквозные выбоины в стенах некогда добротных частных построек. Дома, разрушенные наполовину, как будто распиленные огромной пилой надвое, дома, развалившиеся до фундаментов: многократное попадание разорвавшихся мин. Дома — без крыш, с перекошенными стенами. Дома-призраки, без каких-либо признаков присутствия людей поблизости.

И между тем автобус останавливается на остановках, часто мелькающих на дороге характерными табличками на высоких деревянных шестах. Перекошенных, но все же удержавших равновесие, чтобы не упасть на землю. Но чаще водитель останавливается по требованию. Люди выходят из автобуса. Значит, где-то здесь они живут. Практически никто в автобус не заходит. И машина, не разгоняясь, двигается-тарактит дальше. А где-то совсем рядом есть районы, где тоже живут сегодня люди. В многоквартирных, очень близко от братоубийственной линии разграничения. Дома наполовину выпотрошены разорвавшимися в них бомбами. На четверть, а может, и меньше, как говорят, сейчас заселенные. Газ, вода — как получается. Обстреливают эти районы ощутимо заметно и по сей день. И ночь. В четырнадцатом году здесь был ад...

Прошло с того времени пять лет. Ад продолжается. «Веселье» — нескончаемое.

Минут десять пути — и разрушенный остов остановки, после которой на резком повороте вправо начинается ухабистый путь к кладбищу. Официально — закрытому для посещения. Об этом скажет предупредительная табличка на сохранившемся обломке кладбищенских ворот. Но горечь совестливо-людская ведет людей сюда каждый день. Если, запрокинув голову далеко назад, долго смотреть в небо, существующее и в центре города, и здесь — само по себе. Именно в этот день, недостижимо величественное, оно успокоенно ровно дышит бездонной голубиной. Как будто сочно проштампованной с огромной, ярко отпечатанной глянцевой открытки. Навевающей на мысль о близком присутствии совсем рядом необъятно безбрежного водного простора. К тому же — ярко-удало светит солнце. Оглушает разноголосый птичий гомон.

Сплошная природная зелень вокруг, вымытая до полированного блеска недавно прошедшими дождями. Такое здесь открыто-благодатное место.

А дорога к кладбищу, пробитая шрапнелями разорвавшихся снарядов без счета, — донецкая земная стезя. Одна из тысяч. Из числа тех, что не стелются вышитыми вручную рушниками радости под ногами. Но протяженность которых, неважно, сколько метров или километров, измеряется временем, в котором они существуют. И совсем скоро замираешь как вкопанная: ближе к обочине, но все же на дороге — две неразорвавшиеся мины. Они полностью вошли, одна рядом с другой, в раздолбанный пятилетним военным конфликтом асфальт. На виду, как на поверхности фантасмагорического асфальтового торта — забавные металлические венчики, веером по кругу, как лопасти-крылышки у двух подгулявших и застывших в асфальтовом хмелю осьминогов. Ярко блестящие на солнце мины хорошо, до металлической белизны, отполированы колесами проезжающего каждый день по этой дороге транспорта. Не один день, понимай, они здесь отлеживаются. Видны на минах крошечные черные цифры, о чем-то говорящие. И страх, вернее, разновидность его, никак не могущая быть испытанной в центральных районах городского обитания, вопреки всему выводит из ступора застывшего кошмара. Невольно оглядываешься по сторонам. И замечаешь вдоль обочин, по обеим сторонам дороги, печально-особые деревья. Пробитые таки разорвавшимися минами под самые корни. Деревья, уродливо застывшие среди другой, беспорядочно-буйно цветущей жизни. Деревья, усмирненные холодной безжизненностью в неестественно перекошенном полупадении на землю. Деревья, сердобольно жалко удерживающиеся в полувертикальном положении на своих искореженных стволах, медленно рассыпающихся древесными трухлявыми щепками на ветру. Деревья, беспорядочно, так теперь видится со стороны, утыканные обескровленными, торчащими в разные стороны колючими сучковатыми ветками. Деревья-мумии. В саркофаге донбасской трагедии. Алчно и взахлеб питающейся ядом всеобщего замедленного тления.

Разлагающим здесь все живое.

...Дорога не утомляет. Только начинаешь заземленно-пронзительно чувствовать, что жизнь, во всех ее сегодняшних непримиримых донецких противоречиях, проистекает *здесь* и сейчас. На границе вчерашнего судорожного усердия понять ее. И сегодняшнего напряженного возбуждения осмыслить увиденное. Что есть учащенно пульсирующая болевая точка, не заживающая уже шестой год (!) кровавая рана донбасской трагедии. Изуродовавшая *здесь* смертельной напастью огромное пространство. Со всеми его потрохами. Пространство — между Небом и Землей.

Как окажется позднее, пошаговая постепенность погружения в глубины осмысления — всего лишь мираж переживаемого впечатления. Кто знает, может, при своем повторе он станет хроникой былого, в которой опустился на Донецкую землю железный занавес. Разделивший жизнь донбасскую на отрезки времени: До войны и на ее сегодняшнее бредовое сумасшествие, стихийно-бурно происходящее. Непредвиденно *жестокое*. И *беспощадное* ко всему живому.

...*Беспощадная жестокость* ломает каждого. В самом начале — людей, смиренно покорных насилию. В очень скором последствии косит под гребенку отчаянных звероподобных человековыродков. Способных прицельно точно целиться и убивать первых. Физически и морально. По второму кругу. Этот круг — *здесь*. На этом донецком кладбище. Одичавшем от пережитых обстрелов в 2014 году. Осиротевшем на очень

долгое долго. Застывшем в разрушившем его унижительном отступничестве доверия к людям, которые способны убивать друг друга. И расстреливать, не колеблясь, свою память.

— Вы знаете, чем я питаюсь? — Образ беззубой столетней старухи намеренно долго остывал в остановившемся кадре на экране европейского кинотеатра. Заостренно выступающие морщины ее испекшегося в прожитых годах лица, увеличенные к тому же объективом снимавшей бабушку камеры, казалось, насквозь разрежали белое тугое полотно экрана: слишком много смысла, по задумке режиссера, должен был каждый зритель почерпнуть из услышанного и увиденного. Еще более глубоко домысливая следующие слова, медленно прошамканные zdravствующей в своем древнем уме старухой:

— *Корнями... Это очень важно питаться корнями...*

Наверное, и в том фильме, от осмысления которого упоительно-восторженно стояла несколько лет назад Европа, и на Земле разверзлась чудовищная по своим размерам пропасть. Потому что увиделась мне в том художественном сюжете предтеча реального донбасского кошмара, предчувствие надвигающейся катастрофы. В которой во взаимоозлобленности современного человеческого варварства уничтожаются сегодня корни родства. И если это стало допустимо возможно, то какой смысл говорить о нациях и национальностях, о флагах и гимнах, о границах между государствами. И о способах пересечения государственных границ.

Все это изничтожается, самоуничтожается, теряет свой пафосный смысл какой-то искусственной человечности *здесь*, на этом кладбище. Когда не идешь, а медленно скользишь в отупении между могилами. Ни одной сохранившейся. Много навсегда исчезнувших с поверхности Земли. Ушедших в преисподнюю вместе с останками людей, здесь похороненных. Превратившихся в огромные земные воронки. После разрыва на могилах особо тяжелых снарядов.

Из того же фильма: абсолютно голая и босая долговязая девица долго топчется на одном месте, на узкой тропинке, потирает в показном волнении руки. Дышит на них, согревая, что ли. Оглядывается по сторонам, поправляет на своей голове идиотски высокий тюрбан, который особенно подчеркивает мужеподобность ее лица. За девицей наблюдают с застывшими лицами, в ожидании какого-то невероятного обещанного сюрприза, зрители. Их достаточно много. Сидят они на траве, привычка незакомплексованных европейцев, по обеим сторонам тропинки. И вот обнаженка разбегается, бежит, высоко задирая ноги, и бьется, издалека видно — что есть силы, своей головой о высокую, грубо сложенную каменную стену, метров пять длиной. Фигура задом к зрителям стоящей женщины застывает на время. Тело женщины с остро выпирающими лопатками срослось на долгие минуты со стеной. Ее руки, хорошо видно, медленно скользят сверху вниз по каменной поверхности стены. Зрители реагируют молча. Что-то выжидают. Не зря. Женщина изнеможенно поворачивается. По ее левому виску обильно течет кровь. Выражение лица — идиотски безумное. Громкие аплодисменты. В воздухе взрывается одобряющими криками изъедающая публику от безделья скука. Переходящая, естественно, в веселье!

Немного позднее: девица, уже одетая, сидит перед настенным зеркалом в бедно декорированной комнатной камерке и протирает влажной салфеткой свое лицо. Обыкновенное усталое лицо, без единой царапины на нем. Что-то говорит женщина мужчине, рядом сидящему в обтрепанном кресле в скучающей позе сытого бездельника, о каменных муляжах...

...А эту могилу расстреливали, не муляжами, несколько раз. Очевидно, прицел у тяжелого орудия, из которого на кладбище летели мины, не менялся. Два шага от могилы — воронка глубиной в метра два. И шириной — такой же. Рядом, с другой стороны — могилы нет. Ничего не осталось. Приходили родственники. Очистили воронку от кусков разорвавшегося гранитного памятника. Засыпали землей могилу без останков — они разлетелись пылью человеческого обесчещенного праха по кладбищу. Колосится одна трава. Скоро будет по пояс. Немного в отдалении — еще одна воронка. Прямое попадание в другую могилу. Земля выворочена наизнанку. Она устала толстым слоем могильные плиты. На вывороченной черноземной земле, поверх плит, дуреют, ну просто сходят с ума от дикого приволя сорняки, густые, колючие, разноцветно-цветастые. Некоторые — очень красивые. Но знаешь же, что бесполезные.

Сорняки — не цветы. Яснее, чем где-либо еще, это понимается *здесь*. В сердечно молитвенной скорби поминовения всех умерших, на этом измороженном войной кладбище когда-то с миром упокоенных.

И очень много деревьев вокруг. За пять прошедших лет, бушевавших на этой земле оскалом беспрецедентного человеческого зверства, деревья, кто его знает, откуда здесь появившиеся, укрепились своими корнями в землю. Впились ими намертво в Вечность. Подло и беспрепятственно проникая в глубины могил. Высасывая память родов человеческих из земной бесконечности.

— Дерево из могилы отца муж выкорчевывал больше часа, — рассказала пожилая женщина. — Когда докопал он до его глубинных корней, мы глазам своим не поверили, что могут быть они такими широкими... и светлыми в подземелье... Как моя рука в этой части, посмотрите. — Она, закатав рукав платья, указала на предлоктевую часть своей руки. — Мне было страшно... Неужели корни этого дерева, щупальцами подземного спрута пронзившие кладбищенское подземелье, коснулись останков отца? Мне снился он перед этим. Очень просил есть... А когда могилу очистили, так спокойно стало на душе... Груз вины перед отцом... Это невозможно передать словами. Душа истерзалась выносить такой позор... Пять лет не могли сюда добраться... Мы уезжали. Нас и по сей день расстреливают в нашем районе.

— А не боялись, что рядом мог быть неразорвавшийся снаряд? Две мины неразорвавшиеся видели на дороге?

— Нет. Не боялись. — Сентиментальная чувствительность на грани слез сменилась в глазах женщины на принципиальную уверенность. Женщина ответила твердо. — Бог все управит... Он дал нам силы прийти сюда... *На этом кладбище — корни нашего рода...* Не проходит и дня, чтобы я не вспомнила об отце... Видели бы вы, как корни того заблудившегося дерева вцепились мертвой хваткой в землю... Странно было это видеть... Так что же, корни целого рода так легко уничтожить? И так же легко забыть и предать? Тошно, так непристойно тошно с этим жить... И что сказать потом детям и внукам? Корни наша нечисть подземная изгрызла? Расшалилась, поиздевалась... Смотрите в небо...

Заволновалось оно. Парит красиво и уверенно в небесной широте воронье. Никаких лишних движений, никакой суеты в красочно застывшем размахе их выпрямленных крыльев. Это в городе вóроны летают скученными стаями, подбадривая друг друга в своих сермяжных заботах осипшим громким покаркиванием. Ритмично-широко при этом размахивая черными крыльями, как будто завод механический приводит их в движение. А здесь небо для птиц — простор... У каждой — свой небесный остров, в котором угрюмость молчания есть серьезность прочувствованной печали. Но прерывается она внезапно сухим и отчетливо, до невозможного, слышимым потрескиванием

длинных автоматных очередей. На звуки выстрелов — они звучат *здесь* как надругательство над святостью памяти — никто из присутствующих на кладбище, их единицы, не реагирует. Только в самом начале оглянутся люди по сторонам, прислушаются. И продолжают чистить могилки своих родных.

Стали ходить на кладбище люди. Привыкли они и *здесь* к войне. А может, и не привычка это вовсе, а обыкновенная житейская суета сует. Оттого что изменить волею своего хотения ничего невозможно. Хотя бы потому, что из года в год ползут по округе слухи о том, что неподалеку могут работать снайперы. И вырисовывается картина: разрушенное кладбище, голубое небо над ним. И фонирующая истерия расчехленного и стреляющего, всех возможных видов, оружия. Обстрел этого района может продолжаться несколько часов подряд. В любое время суток. И сопровождаться эхом от близких взрывов.

После серии мощнейших в 2014 году обстрелов осел в руинах монастырь Иверской иконы Божьей Матери. Оказался он на самом обрыве Вечности. Взвившись к небу из своих пробитых минами останков остовам обгоревшего купола. Сейчас — это металлический каркас, насквозь продуваемый полынно-горьким поветрием военной чумы. Выгорели кельи живших возле монастыря монашек. Вздрыбленная земля вокруг полуразрушенного здания наполнилась гранитными осколками разбитых могильных памятников. И службы в монастыре. Которые проводятся по праздникам небесного календаря перед иконой-спасительницей внутри устоявшего на ногах храма. И молитвы здесь же, на кладбище, которые мыслями и шепотом молящихся возносятся к небу. И которые заглушают звуковой хаос земной жизни.

Из него в настоящей жизни никак не выбраться. Наверное, потому, что слишком много ничтожных и лживых слов рассыпали люди на Землю: ложь не любит простоты.

Потому что в ней — настоящая живая любовь к себе подобным.

Связанных неразрывными узами человеческого родства.

Господь сподобил. Старенькая «лада» привезла на кладбище старушку. На ней добралась до стартовой точки автобуса. На остановке собралось много людей. Значит, заждались они его... В этом нескончаемом адовом круге. У каждого района города — он свой.